

Глеб Иванович Успенский

Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)



Глеб Иванович Успенский

Волей-неволей (Отрывки из записок Тяпушкина)

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665595*

Аннотация

«...В «записках Тяпушкина» Успенский ставит перед собою цель разобраться в многочисленных «несообразностях» русской жизни и объяснить причины бестолковщины, ярко проявляющейся и в городе и в деревне. Тысячи людей собрались проводить гроб Тургенева, но торжественность прощания с писателем-гуманистом нарушена взводом казаков, присланных «следить за порядком»; деревня так нуждается в помощи врачей, но нет заботы об увеличении их числа, и крестьяне «волей-неволей» должны обращаться к помощи знахарей; выходец из деревни, коридорный Кузьма хорошо подметил неполадки деревенской жизни, но вместо того, чтобы встать на путь борьбы с несправедливостью, он, после соответствующей беседы «в конторе», начинает шпионить за жильцами...»

Содержание

I. Вместо предисловия	4
1	4
2	12
3	30
4	38
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Глеб Иванович Успенский

Волей-неволей

(Отрывки из записок Тяпушкина)

І. Вместо предисловия

1

Уж и не пересчитаешь, сколько раз я принимался за этот роман, или повесть, или мемуары; сколько раз я был вполне уверен, что это надо сделать, и сколько раз разуверялся! Сотни раз – какое? – сотни тысяч раз по крайней мере рука моя написала: «глава первая», двести тысяч раз она написала «часть первая, глава первая», и все эти сотни тысяч начинаний оканчивались тут же, на месте, большей частью на этой же несчастной первой главе, а иногда и первой строке... Потому что... что такое? Я человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств, человек случайного «встречного» общества, человек неуравновешенного нервного развития – следовательно,

какой же может быть толк от моих наблюдений для людей, живущих не таким «как бы по ветру гонимым» обычаем? Только скучно! А еще будет скучнее, если я скажу, что наблюдения моего «отрывочного» существования я, приступая к ненаписанному роману, думал свести к доказательству того, что такое явление, как я, положим, хоть Иван Тяпушкин, во-первых, явление не единичное, а, так сказать, «продукт» таких-то и таких-то неизбежных влияний, продукт, личные свойства которого присущи... всему русскому обществу и народу! Если же я еще прибавлю к этому, что личные эти свойства заключаются в неизбежности «пропасть» за что-то, лично меня не касающееся, несколько даже мне иногда не нужное, что, с другой стороны, отдавшись этому личному, я так же *должен* пропасть, пустить себе пулю в лоб, то ясно будет, что навязать такую «неизбежность» всему обществу невозможно. И вот почему, написав «часть первая», «глава первая», я тотчас же и прекращал работу... А уж сколько этих начал было! И «в один летний вечер»... И «солнце склонялось к горизонту»... И «Марья Васильевна лежала на кушетке»... Один раз было даже «полулежала»... Ну да что! Молчание!.. Молчание!..

Но в последнее время, или, вернее, в самые последние дни последнего времени, целый ряд явлений жизни, поистине достойных носить название «наглядных несообразностей», вновь и с особенною силою возбудил во мне желание вытащить опять на свет божий мою любимую идею, что

известному поколению русского общества обязательно было «пропасть» во имя чужого дела, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что к этому его привела вся всечеловеческая жизнь и вся всечеловеческая мысль, и что если оно не уверует в это, не укрепит себя в этом, то ничего, кроме самой ужасающей бесплоднейшей и адски-мучительной глупости, выработать оно не может. Эту любимую идейку о необходимости «пропасть» во имя лично для меня ненужных, даже нежелательных обязанностей, обязанностей тяжелых, неприветливых, я и захотел вновь показать на опыте моей случайной, во многом суженной, изуродованной жизни. Явления современной жизни, о которых я говорю, сделали то, что даже самая узость моих наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь как бы ободряла, именно потому, что я сам «сужен» и все мои наблюдения «сужены» как раз на этой неизбежности «пропасть» не за свое, а за чужое, за что-то, от чего мне ни тепло, ни холодно, и т. п. Или нет – холодно! Ужас даже как холодно!...

А точно, мне неизвестно даже, где и когда могли бы происходить такие явления, о которых я только что говорил. Последние месяцы настоящего года я, за неимением места, провел так: поживешь в Петербурге, устанешь – поедешь в деревню к приятелю; там поживешь, устанешь, поедешь в Петербург... и так четыре месяца подряд мыкался я и туда и сюда, уставал, уставал и уставал... и, наконец, до такой степени измучился, что одно время думал о неизбежности смер-

ти, вследствие неотразимо надвигавшегося на меня психического расстройства, грозившего умопомешательством. Но, к счастью, вдруг как-то напал на мысль – писать опять ту же ненаписанную повесть...

Впрочем, прежде всего необходимо подробно рассказать, как и от чего именно я устал; надобно рассказать, как я провел осень, что видел и испытал. Необходимо иной раз коснуться и таких сцен и фактов, которые пригодятся только потом, долго спустя после этой первой главы моих заметок. Рассказывать всего по порядку – решительно невозможно; впору справиться только с самым памятным и приметным. Начну эти воспоминания о прошлой осени с такого события, которое памятно не для одного меня, а для всей России. Я говорю о похоронах Тургенева. Спрашиваю всякого из ста тысяч человек народа, присутствовавшего на этих похоронах, что это такое было, как не непрерывная цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни сделавшихся обязательными, неизбежными? Начиная с появления гроба в дверях Варшавского вокзала и кончая могильным холмом – весь восьмичасовой промежуток времени, ушедший на процессию, обязывал решительно всякого из сотен тысяч народа, присутствовавшего на этих похоронах, переживать ряд самых непоследовательных, нелогических, болезненных, бессвязных впечатлений и в то же время сознавать, что нелогичность, бессвязность, непоследовательность их нужны, необходимы, неизбежны – словом, что «так

надо», хотя в то же самое время и совершенно «ненужно». Ясное, светлое осеннее утро; цветы, лавры, ленты и гроб писателя, при имени которого и при воспоминании о котором никакого иного представления, кроме того, что и посетитель и читатель его выносили – и от знакомства и от чтения – исключительно хорошие, светлые впечатления. Воспоминаются самые тихие, приятные, простые образы, густолиственные аллеи, красота... молодость... любовь... глаза, заплаканные невинными слезами... кисея какая-то подвенечная чудится неведомо почему... холодные пальцы робкой женской руки... А на душе у всех тягота, камень сознания, что «не нам и не ему сей фимиам пахучий, цветы и лавры, – нет!»...¹ Что «терн колючий» *должны* мы вспоминать... по случаю, как видите, совершенно неподходящему. При более или менее здоровых условиях жизни и «терн колючий» вспомнили бы мы в свое время и в своем месте, а теперь он вспоминается вовсе не у места, и выходит так, что *надо* вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам. Так вышло! Так надо! И вот с таким-то извращенным волею судеб состоянием духа, с камнем на душе, тысячи народа идут четыре-пять часов; мертвое молчание, напряженность, обязанность идти и знать, что внутренний душевный холод обязателен. Идем, и вдруг видим взвод казаков, молодец к молодцу, которые по-

¹ ...«не нам и не ему сей фимиам пахучий...» – цитата из стихотворения Я. П. Полонского «27 сентября 1883 года. (У гроба Тургенева)».

чему-то невольно напоминают стих Пушкина: «вмиг слетелись в общем крике»²... и даже не весь стих, а одно только слово «ВМИГ».

Бога ради, читатель, не думайте, пожалуйста, что, заговорив о казаках, я сделал это из желания представить себя «каким-нибудь эдаким» либералом, фанфароном, который представляется возмущенным, фыркает, осуждает, фордыбачит – словом, «отличается» смелостью и свободой своих просвещенных идей. Ничуть и ни в каком случае. Я и говорю об этих закубанских молодчинах именно в подтверждение той странности современных «наглядных несообразностей» жизни, что они, закубанские молодчинищи, *должны* были непременно присутствовать здесь и что начальство непременно должно было послать их сюда. Так сложилась жизнь, что на похоронах Тургенева должно было и вспомнить терн колючий и созерцать закубанцев. И все это отлично понимали, и все чувствовали несомненно, что все это весьма странно и удивительно. В самом деле, какая тут связь с литературной деятельностью Тургенева и всеми воспоминаниями о нем, которые роятся у всех присутствующих, начиная от частного пристава до студента с венком в руках? – Никакой. Тургенев – и закубанец... ведь это бог знает что! А – *надо*, и все знают, что надо. Нелепо, а необходимо; и вообще так вышло.

² ...«вмиг слетелись в общем крике»... – неточно цитированная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш».

Итак, пройдя пять часов с каменной тяготой воспомина-ний о колючем терне вместо цветов и лавров, миновав несообразную и в то же время вполне понятную встречу с закубанцем, мы, наконец, достигаем могилы и слушаем речь Бекетова об астрономии³. Теперь позвольте сосчитать все впечатления, которые мы пережили: Тургенев, Ася, густолиственная аллея, кисея подвенечная, закубанский эскадрон, речь об астрономии. Какую связь, живую, здоровую, все это имеет между собою? Живой и здоровой связи нет. Хороним Тургенева, создателя целой толпы чудных и нежных образов, а говорим об астрономии; при чем тут Тургенев? Ровно ни при чем. А закубанец при чем? Тоже ни при чем... Елена, Инсаров, Лаврецкий, густолиственная аллея... а плеть закубанская как попала? Неизвестно!.. Теперь, если так взять: какая связь между плетью и астрономией, между венком от женских курсов и закубанским эскадроном; какая связь между Тургеневым и астрономией, между астрономией и тернием колючим? Ровно никакой!

Но жизнь пошла такими дебрями, дала такой нелепый оборот, что на каждом шагу стала создавать явления тяготы, неизбежной, вполне неминуемой и вполне нелепой и, главное, бесплодной. Возвратившись с этих похорон, я чувство-

³ ...речь Бекетова об астрономии... – На похоронах И. С. Тургенева выступил ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, посвятивший свою речь «закону сохранения сил» не только в физическом, но и в духовном мире. Бекетов сравнил бессмертие творчества Тургенева с бессмертием вселенной («Огонек», 1883, № 42, стр. 777–778).

вал себя совершенно избитым впечатлениями дня. «Тургенев, эскадрон... астрономия... а надо!» Вот что сверлило мой мозг как буравом... Почему «надо»? – спрашивал я себя, и тут мне почему-то припоминалось освобождение крестьян, 19-е февраля, стремление в народ, «народное благо»... И тогда я впадал в отчаяние еще большее, потому что мои мысли еще более спутывались, так как в них начинала чередоваться еще большая масса непонятных и несоединимых представлений... Освобождение... Ася... астрономия... 19-е февраля... закубанец... Тургенев... аллея... Как же все это могло выйти из 19-го февраля? Но когда начнешь думать об этом, то приходишь к роковому – «надо»! Так вышло! А когда опять начнешь перебирать в подробностях картину, которая вышла, то сталкиваешься с подавляющим вопросом: к чему же все это нужно? Чего надо достигнуть всем этим? Зачем это и какой прок от этой адской тяготы, тяготы одинаково не удовлетворяющей никого: ни закубанца, ни Тургенева, ни астрономию, ни начальство?

Нет! Надо отдохнуть! Отдохну, почувствуюсь, а потом и сообразу.

Отдохнуть я поехал в деревню, к приятелю... И точно, здесь в деревне по крайней мере понимаешь то, что видишь, и, глядя на то или другое явление, можешь ответить на вопросы: почему, зачем, отчего? Например, тотчас по приезде на станцию и по выходе на платформу я, несмотря на тьму зимней ночи, вижу, что поблизости платформы скопилась масса извозчиков. Вижу это и понимаю, что, стало быть, «приели» хлеб-то за первые же месяцы зимы. Что надобно его покупать, и вот почему десять человек приехало за двумя пассажирами. А вот осенью, в сентябре, когда только что убрались с поля и когда хлеб был у всякого, тогда ни единого человека нельзя было отыскать у той же самой платформы. Тьма и дождь, а ты ходи по платформе да жди белого света. А если и навернется какой мужичонка, то только фордыбачит и иного слова как «руп» даже и понимать не хочет. Все это видимо и ясно.

Из десяти толпившихся на платформе в ожидании двух-трех пассажиров крестьян, окутанных в какую-то рвань, с обледенелыми бородами и усами, мы – буквально два пассажира, какой-то лавочник и я – выбрали самого подходящего по части нужды в хлебе: маленького двенадцатилетнего мальчика. Крошечная фигурка, в большой ямщичьей шапке, с кнутом из-за пояса, достигавшим до полу, приглашала

пассажиров таким же точно голосом, с такими же точно жёсткими и ухватками, как и взрослые бородачи, съевшие свой хлеб до рождества. Уж если этот ребенок зябнет здесь в три часа ночи, когда ему самое время спать, стало быть, в его семье и в самом деле жутко.

Сели и поехали, то есть сначала сели, и сидели довольно долго, покуда мальчишка драл свою лошадь кнутом. Драл он ее весьма долго, после чего она потянулась вперед, потом еще потянулась, а потом уж и сани поехали...

– Видно, кормишь плохо? – спросил лавочник.

– Знамо, плохо!

– Сена нету?

– Нету!

– Так! От этого она и нейдет.

– Знамо, от этого. Кабы корм был, так пошла бы.

– Верно! – сказал лавочник.

И я подтвердил это. Все тут понятно и правильно.

Мальчик постоянно должен был стегать лошадь кнутом и дергать вожжами, чтобы принудить ее страхом наказания исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая от каждого удара. Но у кабака она вдруг стала. Мальчонка стал опять изо всей силы стегать ее и приговаривал:

– Это тятенька тебя, проклятую, приучил...

– Али пьет родитель-то? – спросил лавочник.

– Эво! Знамо, пьет. У него только и делов, что пить...

– Отчего так ослаб?

– Ленивый стал...

– Ленивый?... Да ты чей будешь?

Мальчик сказал.

– Ну, знаю, знаю!.. Много ль вас в семье-то?

– Девять человек, да мать, да отец...

– А мужчин-то много ль?

– Да я один.

– А то всё девки?

– Всё девки...

– Ну так, так!.. Ослаб! От этого от самого... Кабы мальчиков побольше, он бы, отец-то, пободрей был: все бы ему надежда на подмогу, то есть по муской-то части, в хозяйстве... Ну, а то всё девки, это худо!.. Так, так, знаю!.. И мать-то твою знаю... Уж баба! Идет с речки, на одной руке один ребенок, на другой – другой, за руку третьего ведет, четвертый за подол, да коромысло с ведрами через плечо, да на коромысле-то белья, рубах и прочего настирано, навешано пуда с два, да валец за поясом. Ноги как у цапли, тонкие да жилистые... Всех кормит, от всех отгрызается, направо лягнет, налево амкнет... воюет за свое гнездо – одно слово! Вот от этого-то и расстройство – нет равновесу! Все на бабий бок вышло! Ну, мужику-то уж и обидно, вроде как подначальный у них, потому эво их какая сила!.. Что ж, отец-то дюже ослаб?

– Отец-то? И совсем как полоумный стал.

– Что ж он делает по дому-то?

– Да чего ему? Лежит на печке да пьет. По осени пошли

молотить, а он колеса пропил.

– Ай, ай, ай!

– А то вот хомут хотел продать, слава тебе господи, я хватился, пымал его: «куда ты, мол, полоумный, тащишь хомут-то?» Ну, отнял от него... «Нет, брат, говорю, погодишь!»

– А он что же?

– Чего ему? Пошел на печку, ругается... «Мне, говорит, литок хотелось попить!»

– Чего?

– Литок хотелось ему попить... «Водки, говорит, хотелось...»

– Попить?

– Да! «Попить бы мне водочки, говорит, литок!.. скучно мне, говорит, стало, попить захотел». – «Нет, говорю, любезный, погодишь!.. Ты бы, говорю, хошь лошадь мне помог запрячь на станцию-то съездить... Ты видишь, я еще мал, мне иное дело и не в силу... Я вот пахать принялся было, так только и руки и ноги вывихлял, еще силов нет, а ты, только бы попить тебе, дураку». – «Мне, говорит, скучно... Стану я тебе подсоблять, когда ты у меня хомут, подлец этакой, отнял». Да чего! На станцию-то не пускает. Во всем доме хлеба нету куска, а стал я ночью собираться – не пускает. «Спи, говорит, чорт! Покоя от вас никакого нету. Вот встану – бить зачну...» Ведь вот какой полоумный! Чуть было не прибил!..

– Да, ослаб, ослаб! Да и ослабнешь!

Лавочник соскочил на перекрестке, а мы поехали дальше. Пустынный промежуток между двумя деревнями; самый молчаливый час ночи; темно, мрачно, тихо... И в темноте виднеется что-то более темное: присматриваясь, можно различить темную фигурку, еще более маленькую, чем мой извозчик, и маленькие также черные салазки. Темная фигурка маленького мальчика с салазками посторонила и забрела в сугроб снега.

– Куда это он в такую пору?

– В лес идет!

– Зачем?

– А за дровами!

– Зачем же ночью-то?

– Да ведь воровать будет. Нешто днем можно? Ведь увидят, а теперь спят.

– Разве своего лесу нет?

– Кабы свой был, так не воровал бы...

– А ну как его волки съедят?

– Так чего ж им не съесть? Захотят, так и слопают... Но... голодная!

«Верно!» – подумалось мне. И все опять-таки правильно и понятно.

И на другой день все также хорошо... Утром выхожу на крыльцо вместе с моим деревенским приятелем. Стоит человек в пиджаке, шарфе и картузе. Человек этот давно мне знаком – ремеслом сапожник, но делает всякие дела: и де-

ревя сажает, и канавы копает, и обоями обивает. Ему лет пятьдесят, но он еще бодр, держится по-солдатски и старается всегда и спрашивать и отвечать развязно и весело. Тут же, около крыльца, стоит зачем-то деревенская женщина, старуха с завязанным и больным лицом.

– Здравствуй, Василий! Что скажешь? – спрашивает приятель.

– К вашей милости! Нет ли каких делов? Я теперича не пью-с, ни боже мой!..

– Ты мне много раз говорил, что перестал пить, – и все пьешь!

– Нет, уж сделайте милость! Теперь нет, ни капли! Вот уж четвертый месяц даже росинки не было. Опять взялся исключительно за сапог. И теперь что вам угодно, хоть всю фамилию обошью и перечиню... Как можно пить! Я, позвольте вам сказать, почему пил? Я стал пьянствовать по случаю смерти жены... Когда она померла, то я впал в тоску. Девочку, которая осталась после нее, отдал матери, остался в пустом доме, ну и зачал пьянствовать. Тут я действительно стал поступать без всякого смысла. Первым долгом начал с того, что пошел в сад, вырыл там малину, смородину, вишни, яблони; вырыл, продал и пропил. На кой они мне ляд? Покончивши таким родом в саду, пошел я в амбар; закрома вынул, выломал, бочки из-под капусты, из-под огурцов выкатил, ведра, ушаты, лопаты, лом и весь прочий подобный хлам свалил; отвез, продал и пропил. Эту часть пропивал я,

прямо сказать, недели четыре, даже, пожалуй, весь почитай, рождественский пост. Тут подошли праздники, гости, надо уж и других угостить. Тогда я принялся за мебель: пропил я тут пять стульев, кожаные сиденья, шкаф, чашки, серебряные ложки две, ризу, потом киоту, стол ломберный, круглый был стол на колесиках – тесть подарил – тоже пропил; под одно пошли занавески, перины, самовар, котел для белья, чугуны – все прикончили в течение, так сказать, промежутка до масленицы. На масленой неделе подступил я к дивану – диван, тоже дареный, со спинкой, пружинный, три аршина длины, аршин ширины, столярной работы, прочный-препрочный – сдвинул я его, поднял, вознес, выволок, взвалил, продал, пропил. Картины: вид Иерусалима и Александр Благословенный дарует мир Европе⁴, в белых панталонах, на карту ногой наступивши и со шляпой, – к буфетчику Ивану Антипову поступили. Кирпичу было припасено на поправку две сотни – прекратил! Далее, таким же родом прекратил одежду, перво женину, а после того и свою собственную, до последнего сапога, опорка и даже последний ремень, гвоздь из стены – и то все пропил и окончательно достиг до того, что является мне сам дьявол и говорит: «Одобряю тебя, мерзавца, за твои дела». И вот эдак лапой по лицу провел, со лба и по носу, перед богом, хотите верьте, хотите нет! Ну, тут я испугался: огляделся – вижу, пусто, и страшно мне, ни жены

⁴ ...Александр Благословенный дарует мир Европе... – Речь идет об Александре I, вступившем в марте 1814 года во главе союзной армии в Париж.

у меня, ни дочери, ни мебели, ни сада, ни одежды, ни поле-на дров, холодно мне, жутко, страшно, боязно; думаю: «нет! надо бросить, а то и с голоду помереть недолго». И потянуло меня на брак. Потому, страшно мне без бабы. Думаю: возьму дочку, женюсь, примусь за работу, опять бог даст помаленьку-помаленьку как-нибудь. Все хоть в печке-то что-нибудь закипит... Вот тут я и бросил, стал искать невесту... С тех пор, вот как женился, благодаря создателя, капли во рту не было...

– А давно ли ты женился?

– А женился я, так сказать, вот уж, пожалуй, с полгода...

– Ну и что же?

– Да пока что – худова не было! Конечно, надо сказать прямо, старенек я... Я хоть и твердого корпусу, ну а уж все не тот во мне взгляд, как ежели взять молодого человека... Да и то сказать, ведь по моему положению и по годам, ведь и найти настоящую трудно. Как порешил я вступить во вторичный брак, думаю – кто за меня пойдет? Которая девица жила в хозяйственном доме, округ скотины, пашни – той и муж такой надобен: ей надо, чтобы и ее бабья часть была полная... А у меня какое хозяйство! Вдову ежели...

– Тебе, Василий, в сиротах надо бы искать!.. – прогнусаила присутствовавшая при этом разговоре баба сквозь платок, которым были завязаны у нее нос и рот.

– Вот-вот, – подхватил Василий. – Именно твоя правда! Думал-думал я, прикидывал и так и сяк, и насчет вдов, и на-

счет девок, и насчет прочих сортов – нет, не подходит. Оказывается так, что окромя как в сиротах, в безродных для меня способов нету. Пробовал было я присогласить у старухи у Пучковой дочь, потому старуха бедная, ну и она было ничего, только, говорит, надобно погодить. «Обещал, говорит, мне один добрый человек кирпичу подарить полтыщи да тесу двадцать тесин на бедность, на помин души отцовской, так ежели подарит, так я, говорит, подправлю вторую половину в избенке, поставлю печку и кое-что подошью тесом; тогда, говорит, эту половину у меня обещал урядник нанять... Вот, говорит, ежели получу кирпич и тес и урядник у меня будет жить, то буду я иметь доходу рубля четыре, и мне старухе хватит; тогда я могу дочь мою отпустить, потому я и на четыре рубля проживу; ну, а коли ежели кирпичу он не даст, то, следовательно, не даст и тесу, и фатеры я сдавать не буду, – то мне. без дочери прожить нельзя, и в брак я ее не отдам, пускай ходит хоть на поденщину, в стирку, все хоть что-нибудь добудет». – «Ну, думаю, говоришь ты, старушка, правильно, а все-таки из-за твоего кирпича как будто бы мне без жены оставаться не приходится...» Да и девку-то жалко. Девка, сказать вам по совести, очень мне по вкусу пришлась... Потому – тепло от нее... Кажется, взять ее в дом, так и без дров изо всех труб пойдет дым и жар. Работяга, и нужду знает, и из пустяков может большую суету соизидить, а мне от этого лучше, потому мне страшно стало одному-то... холодно!.. Вот я хотя и слушал старухи-

ны слова и понимал, а все же не сразу отстал от этого дела. Стал я с самой девкой разговор вести. «Ежели, говорю, Авдотья, Иван Данилов кирпичу твоей матери не даст, так ведь ты так и останешься в девках. А ежели бы за меня пошла да как-нибудь справились, так тогда мы и мать бы взяли». – «Что ж, говорит, Василий, пожалуй». Подумала-погадала, наконец говорит: «Увози меня такого-то числа с посиделок». Это у нас теперь заведение такое «увозом», чтобы свадьбы не справлять. Справить свадьбу, мало-мало шестьдесят рублей, – а где их взять? Опять ежели делать свадьбу честь-честью, так и приданое надо давать. А как нет приданого-то, вот оно и неловко. Так чтобы уж не срамиться и понапрасну денег не тратить, вот надумали «увозом»... Тут и родителю-то уж есть случай сказать: «А! когда так, без моего согласия, так нет тебе и приданого!» Это даже и родителю приятно, особенно когда у него ничего нет. Ну, и гостей тоже приглашать не надо, да и не пойдут к непочетчикам, это уж не настоящая свадьба, а воровская. И выходит таким образом экономия. Только отдай попу, больше ничего. «Увози, говорит, меня такого-то числа, а потом я посмотрю». Подсогласил я тут мужика, подъехал, вышла она с посиделок, узелок при ней, сели, поехали. Приехали домой. «Ну, говорит, Василий, теперь мы чаю напьемся, а уж завтра я погляжу – быть мне твоей женой или нет». Достала своего чаю, самоварчик я добыл, напились – легли спать. Я в куфне, она в горнице, сена я ей принес. Наутро опять же напились чаю,

пошла, поглядела дом – ничего, дом понравился; поглядела чердак – и чердак ничего: «хорош, говорит, чердак». Потом того кухню рассудила во всех суставах, только головой покачала, потому действительно я все там растащил и пропил... Затем в анбар – худо и в анбаре: тоже ничего нет, не с чем взяться; спрашивает: «Корыто где?» Я говорю: «Что делать! нету, куплю...» – «Лопата?» – «Нету, куплю!» – «Ушат?» Опять нету... Ничего нету. Походит, походит, спросит: «А, например, ухват, или утюг, или горшок?» – «Нету, друг мой, надо покупать...» Обглядела все уголки, всё обшарила, обсудила, пришла опять в горницу, поставила самовар, опять своего чаю заварила. «Нет, говорит, Василий, не подходит мне за тебя идти. Что мы будем за хозяева? Ведь рук не к чему приложить... Куплю-куплю, а на что? это значит: иди я, стирай опять да добывай на всякую малость окромя пропитания; это мне нет удовольствия. Что же мне, сам рассуди, с такой скуки жить начинать?» – «Подумай, говорю, Авдотья, может и подойдет как-никак». – «Я, говорит, подумаю, только навряд, чтобы это дело по мыслям мне вышло». Пробыла она у меня таким манером два дня, все думала; дров наколола, рубашку мае выстирала и все думала... На третий день, наконец, встала, умылась, богу помолилась. «Нет, говорит, Василий, не подходит. Прощай! Пойду я домой. Чаю тебе оставляю на две заварки и сахару, а уж что делать, лучше же я при матери потерплю, а может, господь и лучше судьбу пошлет». – «Ну, говорю, Авдотья, нечего делать, прощай!»

Оделась она, узел за плечи навязала, юбку подтыкала, взяла палку – и в путь, пешком... Ха-а-рошая, золотая девка. Твердая, умная, лучше не надо... уж я и сам подумал-подумал, вижу – цена девке большая, расчету ей за меня идти нету. Проводил ее пешечком за деревню... «Смотри, говорю, Авдотья, волки как бы тут не побеспокоили...» – «Эво, боюсь я их!..» И ушла, хорошая такая, твердая... «Заходи когда!» говорит. Хорошая, хорошая – одно слово... И точно, на ее счастье, Иван-то Данилов не обманул ейной матери, и кирпичу и тесу дал, и урядник переехал, да как увидел, какое добро Авдотья и какая округ ее теплень и уют, так сейчас же честь-честью за ручку да в храм и вступил в закон. Погляди-ко, какая теперь дама вышла!.. Я уж и сам думаю: «Истинно тебя, Авдотья, господь от меня спас!..» Нет, каков ум-то у девки? Сколько рассудку-то, ведь это цены нет!..

– Этакая девка не по тебе, – промолвила опять слушательница: – тебе беспрерывно надо бы в сиротах пошарить, поразыскать...

– Ну, тут уж я к настоящим сиротам устремился... И разыскал я действительно почитай что совершенно голую девицу. Жила она при тетке на квартире, а тетка-то калачи пекла, летом на большой дороге пробавлялась. Одна у обеих шубенка... бедность. Ну все же кое-что для начатия было: подушка, образ, кофейник, ухват там, например, кочерга, платишко ситцевенькое – ну, словом сказать, рублей на пять-ток всякой домашней сволочи было, да деньгами-то тетка-то

рублей никак восемь вытрясла из чулка – ну кое-как, да кое-как и женился, и стал опять помаленечку да полегоньку на путь наступать, с тех пор и не пью ни капли.

– Что ж, – спросил мой приятель: – хороша жена-то?

– Да как вам сказать... она ничего, и хлопотлива, и все...

Только что голова у нее маленько с дуринкой. И молода, да и голодала уж больно долго... слаба... Работает-работает, да и начнет фыркать: «мало, вишь, меня любишь!»... А мне ведь пятый десяток, куда мне много-то? Ну, и надурит. А потом, само собой, должна уж замолчать... И девочкой-то моей стала брезговать. Как женился-то я да взял девчонку, ну, она с первого начала ничего, ласково, а теперятко нет-нет, да и треснет ни за что ни про что...

– А сама-то тяжела уж или нет? – опять прогнусавила слушательница.

– Должно быть, что как будто есть...

– Вот от эвтого-то она и стала твою-то девчонку пригибать к земле, что свое дите начинается.

– Уж и я думаю, не от этого ли?

– Да уж верно от этого. Коли свое начинается, так уж чужое так бы и сжил со свету... Ох, грехи-грехи... Так бы слопала совсем с костями чужое-то!

– То-то вот и у нее это стало обозначаться. Я вот и сейчас-то, признаться, из-за девчонки пришел, под работишку какую-нибудь деньжонок попросить... хоть целковых бы два... Хворает, бедняга, надо бы все чего-нибудь хошь от

фершала взять приложить... И все из-за моей бабы вышло... Пошел я как-то полусапожки на станцию отнести, старшего буфетного лакея любовница заказывала, и надо было полтора рубля серебром получить... Пошел, отнес... «Подожди, говорит, почтовый поезд отойдет, тогда мой придет и отдаст». Ну, ждал-ждал, пока что, пока поезд ушел, то да се, прошло времени часа три, а с дорогой-то часа четыре протянулось. Прихожу домой, вижу, дверь заперта, и замок висят, а в горнице моя девчонка ревет благим матом. Жены нету, ушла куда-то; пошел, поспрошал там-сям – нету; идет знакомый парень: «Кого, говорит, ищешь?» – «Да жены нету, не знаю где?» – «А она на посиделках»... Что за чудо, думаю? У нас бабы замужние и глаз туда не кажут. Пошел, разыскал, привел домой: «Что тебе, говорю, за дурь в голову влезла!» – «Да что же мне так всю жизнь и не видать свету-то?» Находит на нее дурь эдакая, безобразная. «Всю жизнь, говорит, свету не видишь. То нищей жила, то теперича за тобой, за старым чортом, мучаюсь, да с твоей с паскудной девчонкой нянчусь, да и то иной раз по дням есть нечего. Хоть одним глазом глянуть, как люди живут...» Оно и правда, что стар я, иной раз и по шее треснешь, и нуждишка донимает, ну, а все и глупость ее иной раз очень оказывается... Ну промолчал я, перетерпел. Пришли мы домой, отперла она дверь, огонь зажгла – гляжу, девчонка на полу валяется, вся в крови, и голова, прямо сказать, прошиблена. «Как так?» спрашиваю. «А так, говорит, что с печки свалилась». – «Да зачем же ты

ее, глупая, на печку посадила?» – «А куда ж я ее дену? На руках, что ль, ее мне таскать, эко бревно? Оставь я ее внизу, она тут начнет баловаться, ножом еще зарежется или спички найдет – подожжет». И посадила она ее, глупая, на стряпущую печку: думает, что девчонка страхом одним усидит там, сама, мол, побоится к краю подползти... Усадила ее там в угол, огонь задула и ушла... А девчонка-то говорит: «Я, говорит, испугалась, мне страшный чорт привиделся, вот и треснулась с печи-то об пол и пробила башку»... Ведь вот до чего глупость-то господствует в этой дуре... А так она – ничего! Коли очувствуется – добрая, страшливая. Ну, делать нечего – побил я ее, поколотил, поплакала...

– А девочка-то?

– Ну, а с девочкой тоже кое-как... Обмыл я ей прошибленное место... да тряпкой, значит, со столярным клеем и заклеил, потому ничего нет! Чем тут? Покуда бы к фершалу ходил, покуда бы разыскал, покуда что – ан девчонка-то пожалуй бы и совсем кровью изошла. Вижу клей – я сцопал его, развел, намазал крутым манером, да и налепил ей на пролом-то, ну, клеем-то его и стянуло с боков к середке, и очень даже фершал хвалил. Да чего? И сейчас отодрать не в состоянии, так совсем со шкурой и спеклось... И фершал-то говорит: «Пушай, говорит, покуда так, а то, пожалуй, с кожей оторвем... Пускай так остается покуда что. А в случае чего – так скажи...» Ну вот теперича у ее и начинается вроде горячки... бредит и жар... и надо хоть что-нибудь... Ведь

жалко девчонку-то, вся в покойницу, память дорога! Так, уж вот не будет ли вашей милости доверить мне рублика два, а я без сомнения, будьте покойны, отработаю... Девчонку-то жалко... мечется! А чтобы пить – нет, избави бог! И в мыслях этого нет...

– Хорошо, что по крайности захватил клеем-то! Крови-то ходу не дал! – произнесла слушательница-баба.

– И фершал тоже говорил: «хорошо»!

– А у тебя, Аксинья, – спросил мой приятель: – что такое – отчего лицо завязано?

– Да вон, вишь, что...

Она отстранила от носа и рта платок, и тогда мы увидели, что и нос, и рот, и щеки были опухлые, красные и покрытые крупной красной сыпью.

– Это что такое?

– А это по-нашему называется «притка».

– Что ж это, простуда?

– Нет, это не простуда. А это вот как приключилось: пришел Ванюшка из училища и стал читать книжку, а я на полатах лежала...

– Какую книжку? – спросил Василий: – духовную?

– Нет, так, пустяковую... про козу и про лису, либо про овцу... Слухала, слухала я, да и засни... А наутро – глядь, все обличье разнесло...

– Так отчего же?

– А заснула-то я, перекреститься забыла, вот отчего и при-

ключилось.

– От этого, – сказал Василий, – и происходит «притка».

– Так ведь надо лечиться.

– Да уж я мазала... керосином, лавочник посоветовал, и крахмалом, говорит, засыпай...

– И легче?

– Куда уж легче, всю разнимает, мочушки нетути...

Словом, начиная от выхода из вагона на платформу до этой самой «притки», все деревенские впечатления были вполне реальны, понятны и объяснимы. Вопрос «почему» – ни разу до сих пор не оставался без самого ясного, обстоятельного и резонного ответа. Почему ездит мальчишка, а не отец? Почему мальчик плетется ночью в лес? Почему Василий пил, почему Авдотья не пошла за Василья, почему пошла за Василья голая сирота, почему Васильева дочь расшибла голову, почему у старухи приключилась притка и т. д. Все эти вопросы, все эти «почему» имели, как видите, самые обстоятельные ответы, не путали меня нисколько и невольно действительно освежили после путаницы петербургских впечатлений. Правда, иной раз как-то тяжело стало становилось от этой ясности, а иной раз именно вследствие этой ясности в голове возникали вопросы о том, да почему ж это нужно, чтобы ездил мальчишка, чтобы мальчишка воровал, чтобы девочка разбивала голову и чтобы все это было уж так неизбежно, ясно и неопровержимо? Но ясность и неопровержимость этих явлений вновь успокаивали меня, и всякие

сомнения прекращались во мне, так сказать, измором.

Но прошел еще день, и жизнь деревенская, давая по-прежнему все такие же реальные и объяснимые факты, неожиданно стала осложнять их той самой путаницей и «необъяснимостью», которая меня напугала в городе, от которой я уехал в деревню, чтобы отдохнуть и сообразиться.

По улице идет толпа мужиков, машет руками, кричит, орет; в оранье и криках видно и раздражение и хмель; а рассмотревши поближе – видишь на некоторых лицах и на некоторых машущих руках следы драки, синяков и ссадин.

– Что такое, господа?

– Да что, ваш-бродие, нет никакого житья от этих от курлянов. Принуждены сокращать своими способами. Сегодня вот, погляди-кось, какая была поволочка около волости! Эво руки-то!..

– Да за что же, за что такое?..

– Да препятствуют! Очень много воли взяли... Отнимают от нашего брата, от природного жителя, всякие способа, первым народом стали, анафемы... Эво как рыло дерут!.. Хоть возьми вон Карлушку, арендателя, – чем был? как заяц паленый приехал к нам, один только пес тупорылый и был у него, а теперь – вот он кто!.. Уж пятерых девок испортил, в воспитательный то и дело возят; а он только зубы скалит... Так нельзя! Нам самим земля требуется, мы тоже ожидаем

ее – как же так можно, чтобы против своих да иностранных подлецов предпочесть? Это, братец ты мой, надобно прекратить...

– Ничего, – присовокупляет другой деятель из толпы, молодой парень. – Попервоначалу и им ноне хорошо дадено. Для начатия. А с течением времени можно и более сделать им обучения... Попервоначалу и так хорошо!.. Двое еле-еле в санки влезли... Поди, как бы уж окончания дорогою-то не принял кто-нибудь...

– Да в самом деле! Каково вам покажется, ежели я вам все подробно расскажу. Теперича, как отошли мы от господ, то, надобно говорить по совести, земельки нам мало досталось. Прежние, например, лядины, луга, которые завсегда были наши, крестьянские, десятин по пятьсот, по шестьсот и более того, отошли от нас к господам, а господа заложили их в банк, да цену-то набили – эво, выше головы! одного проценту не выплатить, не токмо что доходу или что... А трудно; земля заложена, пустует, а мы приступиться не можем. Но думаем, что авось как-нибудь! Там слух пройдет – по-хорошему обещают сделать – так дело и тянется, а толку все никакого нет... А курляны-то понемногу да понемногу и стали вылезать из своих местов... То один проплетется куда-то в лес на своей клячонке; телега из досок, точно песок возит, а в телеге сундучишко да кадушка, проплетется, и не видать... Идет время – глядишь, и другой едет, и третий, и все проедут, и не видать их... И уж семьями, человек по пяти, по де-

сяти стали выползать, и всё бедные, ничего имущества, почитай, нет; плетутся куда-то... в пустые места. И так идет и год, и два, и три. Мы дожидаемся, терпим, друг дружку у кабака пропиваем, а они тем временем позанимали места, контракты понаписали... И стало даже так, что пошел ты в какое пустое, по прежним-то временам, место, хватить – забор. Кто тут? Курляны... Заборы да заборы, да с ружьями они все, анафемы; собаки у них тупорылые, злые. Едешь – видишь мост, думаешь, как у нас: для всякого, «поезжай кому угодно!» Нет: «мой!» говорит. Не пускает. Да и мосты-то понастроили под курляндские телеги – на нашей и не проехать по такому мосту-то... Иной из наших по-простецки занес ногу через курляндский забор, чтобы, значит, поближе пройти, а хозяин-то свистнет, так псище-то с одного маху за ногу цапнет. Бывает так, что из ружья прицелит да дробью плюнет... Глядим – и тут места заняли, и там, и там... По всем пустым нашим же местам, которых мы дожидались, расселилось их видимо-невидимо... То они все мимо нас ехали и неведомо куда пропадали, а то стали уж и из своих мест выпирать – глядишь, масло везет и дешево продает, а нашим бабам ходу нет; вези в Питер или в губернию, а тут, на месте, которые у наших брали, стали у курлянов брать. Стали они даже так осмеливаться, что перепьются на свадьбе, да во всю мочь на двадцати телегах по нашей деревне – того и гляди ребят передавят. То есть даже и уважения уж не оказывают. Везде нам от них убыток, а они, между прочим, только хра-

пят да нос дерут... А контракты-то понаписали на пятьдесят да на шестьдесят лет. Наш брат, природный житель, вором в лесу-то ходит, дровец промышляет; а они в своих-то арендованных местах живут, как господа, рубят лес, который потребуется, вполне свободно и покойно... а наш брат ворует, а места-то ведь наши исконные, ведь они нам самим надобны... А это что ж такое? Мы – бедняки, а какие-то неведомо откуда объявились народы, посмотрите, как жить зачали! Мне вон нету доверия в лавке, а ему есть.

– Что ж это будет?

– Так вы бы раньше их арендовали земли-то, которые теперь курляндцы арендуют.

– Да ведь кто ж его знал? Арендовать? Чего ее арендовать, когда она испокон века наша была. Ведь тоже надеялись...

– Чего вы надеялись?

– Да, само собой, послаблений каких ни на есть... Как можно с таким лоскутом управить таким делом, как крестьянство?

На это мой приятель весьма пространно и обстоятельно объяснил рассказчику, что начальство десятки раз рассылало по волостям предписание о том, чтобы не верить несбыточным слухам, чтобы никаких ни послаблений, ни иных каких разносолов не ждали, а старались сами заботиться о себе, по мере своих средств и возможностей. Приятель сказал, что старшины должны были объявлять мужикам об этих распоряжениях, и если бы только крестьяне слушались их,

то давно бы сумели прикупить или арендовать на дальние сроки такие участки земли, которые им необходимы и которыми теперь вот «владеют» курляндцы.

— Ну да, скажут нам! Старшина-то иной еще нарочно начнет путать... Скажи он как следует, мы бы, может быть, и столковались бы обществом на чем-нибудь. Да он не даст нам. Он лучше один завладеет куском-то... Вон у нас у старшины все остатние места арендованы, сено косит он да в Питер возит; так какой ему расчет правду говорить? Ведь тогда мы у него отыдем да сами будем владеть. Как же, скажет он! дожидайся! Он еще нарочно намутит: «не спешите, мол, ребята... Скоро будет то-то и то-то, и без денег, мол, завладеем...» Дождись!

— Ну, а если у вас в волости так плутуют, неужели вам нельзя было узнать правду хоть у учителя? Ведь он книжки читает, он может справиться, рассказать.

— Ну уж учителя! Что они знают! Мы видим, чему они учат. Про козу да про овцу... Одни сказки! Нет, тут уж видно надо самим взяться, своим распоряжением вступиться.

...Вечером того же дня пришлось мне встретиться и с учителем.

Я рассказал ему утренний разговор с крестьянином. Учитель прибавил:

— Это все так. Помилуйте, есть целые деревни (да какое «есть» — повсюду почти, за исключением разве немногих близких к волости лиц) — где решительно не имеют понятия

о том например, что в губернском городе уже открыт крестьянский банк и что он уже действует... Знают об этом ловкачи, кулачье, и захватывают тихомолком, а масса только запутывается в своих мыслях.

– Так отчего же не говорить с ней? Неужели у вас, как у учителя, вследствие обязательного вашего знакомства с родителями учеников, не может найтись предлога поговорить, сказать то, что вы знаете?

– Да предлоги-то всегда есть. Напротив, они сами ходят ко мне, эти родители, расспрашивают... Но признаюсь вам – боишься!

– Чего же?

– Боишься разговаривать. Сейчас выдумают клязузу. Вот тот же старшина, которому не расчет уступить в мирское владение подходящий ему участок, придерется и наклеузничает...

– Да к чему же он может придраться?

– Да ко всему. Вот не угодно ли посмотреть такую бумажку.

Он порылся в боковом кармане и подал мне бумагу, на которой буквально было напечатано следующее:

«Так как до сведения училищного совета дошло, что учителя некоторых училищ собирались, с участием посторонних лиц, по воскресным дням для бесед, *не разрешенных законным порядком*, то училищный совет постановил дать знать циркулярно г-дам учителям и учительницам, что по-

добные (?) – собрания, без надлежащего разрешения, строго воспрещаются и виновные в оных лица должны подлежать законной ответственности, независимо от чего виновные будут увольняемы от должности!».

– Ну, вот. Спрашивается теперь, – сказал учитель, пряча бумагу опять в боковой карман, – какие такие есть в деревне собрания, разрешенные законом? И на какие собрания надобно просить разрешение? Все это неизвестно. И вот в этой-то бумаге, в которой не указано даже, что именно законно и что незаконно, а просто сказано только: «подобные» собрания – вы видите однако, как настойчиво и твердо звучат слова об увольнении и законной ответственности... Все это, конечно, понятно, но от всего этого жутко... Ну и молчишь!

– А мужики путаются и мечтают?

– Прямо попадают в западню.

– А потом бьют курляндцев, своим распоряжением поступают?

– Как видите!

.....

И не один такой разговор пришлось выслушать мне в деревне, причем я явно убедился, что несообразности деревенской жизни иной раз ничуть не меньше городской, а главное, вдумавшись в них, опять-таки без всякой фанаберии – видишь, что «нельзя», что одна бессмыслица так сцепилась с другой, что из круга их нет выхода, что эти бессмыслица и

бессвязица неизбежные.

Пожил я таким образом в деревне, думаю: «поеду в Петербург, оглянусь, посоображу и почувствуюсь».

В Петербурге я нанимаю комнату в меблированных комнатах, прилегающих к вокзалу одной железной дороги. Уезжая на день, на два, я запираю только письменный стол и шкафики этого стола, а ключ от номера оставляю номерному. Приезжаю я этот раз в мой номер, смотрю – номер отперт, и Кузьма, «коридорный», стоит около моего письменного стола и роется в столе, в бумагах.

– Что ты делаешь?

– Да свечей ищу, – говорит Кузьма, глядя на меня совершенно глупыми, круглыми и непроницаемо-деревянными глазами.

– Какие же свечи в письменном столе? И откуда ты ключ взял?

– Да у вас не заперто было.

Что же! Может быть. Но такие штуки я стал замечать за Кузьмой не сейчас только; довольно давно уже на лице его появилось это выражение деревянной глупости с оттенком чего-то неумолимого.

Я познакомился с Кузьмой в самый день его появления в меблированных комнатах в должности коридорного. В первое время мы были с ним в весьма хороших отношениях. А в разговор вступили прямо при первом свидании.

– И ваша милость нониче переехали? – спросил он меня,

подавая в тот же день обедать. – Ну, вот... Авось, бог даст, будет хорошо. Пока худого не вижу... Я уж рад-радехонек, что до места добрался, все угол есть, а то с самой войны, как воротили из Турции, чисто с ног сбился, полное расстройство принял. В деревне попробовал было начатие хозяйству положить – ну, не вышло; в город сунулся с женой – опять маята! Первое дело – местов нет, а второе дело – жена-то у меня не прилажена к городу. В деревне ей оставаться не у чего, а в городе ничего по-городскому не смыслит. Кое-как занялась прачешным делом, нахватала там-сям зря, пережгла, перепутала, буквов-то не знает, которое белье надо бы, положим, барину, а она его лакею, а которое рвань, глядишь, барину отнесла – ну, везде ругаются, кричат... Верите ли, своих кровных двенадцать целковых за нее, дуру деревенскую, отдал. Нет, нету настоящего воспитания. Деревенщина! Что с нею мне в столице делать? Теперича вот, пока что, благодаря бога, и моя баба при мне не будет помехой; хотя сапоги вычистить, подмести, в лавочку – это она может.

Кузьма был очень рад, что, наконец, пристроился, нашел угол и работу, и на радостях был очень разговорчив.

– Чего-чего не натерпишься, поживши на свете! будешь рад-радехонек, как к чему-нибудь пригодишься... Теперича рассказать вам, долго ли я в деревне побыл после войны-то... А чего не видал!

Кузьма даже махнул рукой.

– Вступить-то за правое дело не дадут! Слава тебе гос-

поди, все же таки больше мужика видел, видел, и как прочие народы живут... что ж, и писать, читать кое-что знаю и уж не изо зла же буду своему брату делать – захотят, так в порошок сотрут!

– Кто?

– Да деревенские злодеи, прорвы! Кому не расчет, чтобы народ понимал, тот и слопаёт, лишь бы только сума толста была! Никакого присоглашения ни к чему сделать невозможно, то есть ежели на пользу. Сейчас всё перевернут и всё водкой! Возьмите то: барин у нас землю хотел крестьянам отдать и цену назначил настоящую, правильную, кажется бы чего лучше. Земли – мало! Уж я тут всякими способами – «берите, берите, ребята!» и так им растолковывал и так, и совсем было уж на согласие пошли, да лихому, злому человеку нешто дорога правда? Подпоил стариков, одурманил их водкой, наврал с три короба: и запутаемся-то мы и не заплатим, а не заплатим – взыщут, всё имущество продадут! Наврал, налгал, отбил, а потом сам и взял у барина-то, да теперича и дерет со своих же однодеревенцев втридорога... а называется старшина! Да что! Уж я как бился, хлопотал – «дозвольте, миряне, я учту его». Уж это бы, верно, я его вывел на свежую воду, потому в два трехлетия из ледащего мужичонки никак нельзя с капиталом оказаться, ежели не воровать... Опять попоил, да пригрозил еще... «Гляди, говорит, будешь мутить, так я тебя произведу!» Вот ведь какие идола! И нету никакого внимания... А сколько денег-то кровных воруют!

Иной раз думаешь-думаешь: господи! хошь бы о сиротах подумали! Мало ли каких случаев, иной помрет, оставит, бывает, пяток-десяток ребят: ведь по миру идут! Ведь помощи ниоткуда никакой. Копейки нет, а сколько таких копеек... да каких копеек! – сотен воруют, тыщи пропадают!.. Когда я, позвольте вам сказать, был на войне, так это, господи ты мой боже...

Последние слова Кузьма произнес почти шопотом, и вероятно, что он хотел мне рассказать что-нибудь в высшей степени интересное и даже «страшное»; но, к нашему общему несчастью, из коридора в мою комнату отворилась дверь, и какой-то из администраторов меблированных комнат громко сказал:

– Здесь Кузьма?

– Здесь-с!

– В контору – к управляющему!..

Кузьма ушел в контору и долго не возвращался. Я уж давно кончил обед, а Кузьма не приходил убирать со стола. Заглянул я в каморку, где жил Кузьма, но там не оказалось ни его, ни жены.

А когда он, наконец, возвратился, то я тотчас же заметил в нем какую-то перемену, а главное, заметил этот неискренний, глупо-деревянный, с оттенком неосмысленного негодования взгляд... С этого дня он уже не откровенничал, а держался, как я заметил, по отношению всех жильцов меблированных комнат в каком-то недоверчивом отдалении.

Когда, по возвращении Кузмы из конторы, я спросил его:

– Ну, так что ж на войне-то было?

– Да чему же быть? Война, одно слово... Всякого было...

С этого дня установилось деревянно-глупое выражение лица, осложненное отвратительной чертою ненависти, отвратительной по своей бессмысленности, ненужности ее на этом простом лице, сделавшемся благодаря ей и злым, и тупым, и глупым. После неожиданной перемены в настроении духа и мыслей Кузмы все поступки его стали запечатлеваться какою-то бессмыслицею и дуростью. Спросишь что-нибудь, хотя бы «который час?» – и вместо того чтобы ответить, он выпучит сначала глаза, а потом уж и скажет. Глупый, дурашный взгляд его стал останавливаться в тупом недоумении на всякой вещи, при виде всякого лица. Иногда он принимался перебирать книги, бумаги, которых я просил не трогать, иногда начинал рыться в карманах платья, которое брал чистить.

– Вот записка выскочила...

– Как же она могла выскочить?

– Стало быть, выпала как-нибудь.

Словом, глупость стала теперь отличительным свойством всех его поступков, выражения лица, разговора и т. д. Даже на жене Кузмы, этой воистину глупой бабе, отразилось загадочное настроение Кузмы. До сих пор она довольно кротко и молчаливо исполняла свои нехитрые обязанности: вычистит сапоги, принесет кипятку, а теперь позовешь ее – вой-

дет, вытаращит глаза и как будто бы старается не понимать, что говоришь.

– Кипятку!

Стоит, глядит и сомневается; а иногда так долго сомневается, что начнет икать, и, уж только застыдившись своего невежества, уйдет и сделает, что сказано, но все-таки как будто нехотя.

Вот в таком-то странном и глупом настроении духа и смысла застал я Кузьму в то время, когда он искал свечей в моем письменном столе.

Я понимал глупое положение Кузьмы, не мог сердиться на него, потому что у него есть резоны – ведь он рассказывал мне об этих резонах, передавая деревенские впечатления, и для него было простительно искать виноватого, – но все-таки положение его было глупо и отвратительно.

Много раз я замечал, что Кузьма как будто чувствует потребность очувствоваться, стряхнуть дурость, опутывавшую его голову; но дурость овладела им и против воли, может быть, вела от одной глупости к другой.

Получил я как-то письмо от моего деревенского приятеля, который перед этим был в городе и закупал разные лекарства: в деревне свирепствовал дифтерит, и приятель мой, по поручению доктора и по собственному желанию, а может быть, и из простого желания предохранить от беды свою семью, поехал в Петербург купить лекарства, пульверизаторов и т. д. Но как-то случилось, что впопыхах коробку и пульве-

ризаторы он забыл в номере той гостиницы, где он останавливался. Я тотчас послал по адресу – посыльного; но Кузьма, которому было передано поручение послать посыльного, пошел сам, разыскал пульверизаторы и принес их. Когда я открыл крышку, чтобы посмотреть, все ли цело, Кузьма стоял рядом со мной и пристально смотрел на эти инструменты своим бессмысленно подозрительным взглядом, смотрел упорно, внимательно, подозревая и ничего не понимая.

Ящик надо было передать на вокзал кондуктору в известный час, на известный поезд, и это тоже взялся сделать Кузьма.

– Отправил? – спросил я его по возвращении с вокзала.

– Как же, все исправил! Отправил-с.

Ровно через сутки я получил от того же приятеля другое письмо, в котором значилось, что пульверизаторы прибыли в самом ненатуральном виде: медный, паровой смят, лампочка сломана, ни одна крышка не закрывается, точно кто изломал инструменты неумелыми руками, а гуттаперчевый ручной пульверизатор прямо прорван в двух местах и что вообще посланное никуда не годится и надобно все это купить вновь.

Я обратился к Кузьме за разъяснением; но он самым решительным, даже грубым манером отрицал свое участие в порче инструмента. Но глаза его были *до* безобразия глупы в этот раз: они стали какие-то косые, белые, совсем подлые.

Новые пульверизаторы я отправил сам, и они дошли бла-

гополучно, а история с порчею старых, вероятно, так бы и канула в вечность, если бы Кузьма, вероятно измученный дуростью своего нравственного состояния, не задумал сорвать зло на жене и, придравшись к пустякам, не поколотил ее.

Деревенская баба ответила мужу деревенским манером. Она орала весьма долгое время на весь коридор, несмотря на негодование жильцов, и во время этого оранья приплетала все, что приходило в голову...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.